

**ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО СЕРВИЛИЗМА И ДИЛЕТАНТИЗМА
И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ Г. Р. ДЕРЖАВИНА***

Как известно, ранние публикации стихотворений Державина анонимны. На это обстоятельство обратил внимание еще Н. А. Добролюбов, который пришел к выводу, что поэт предоставлял читателям «узнавать ех ungue leonem» («льва по когтям»).

Однако с подобным заключением о гипертрофированности поэтического самомнения Державина не очень согласуются факты, говорящие не просто об анонимности, но и о тщательной *засекреченности* державинского авторства.

Так, публикуя оду на рождение великого князя Александра Павловича в 1777 г., Державин отправил в Академию текст оды и деньги с просьбой «столько экземпляров, сколько за десять рублей можно напечатать». Авторство было засекречено настолько, что «льва» удалось узнать «по когтям» (да и то с привлечением разнообразных документальных материалов) только через 190 лет.¹

В том же самом 1777 г. столь же тщательно укрыл свое авторство Державин в «Эпистоле к И. И. Шувалову на прибытие его из чужих краев в Санктпетербург сентября 17 дня». Само произведение известно, но как время (и история) создания «Эпистолы», так и первая публикация этого стихотворения были надежно укрыты за анонимностью издания. Ни Я. К. Грот, ни составители «Сводного каталога» «расшифровать» державинского авторства, атрибутировать поэту первое издание не смогли (после указания в журнале «Русская литература» в дополнительном томе «Сводного каталога» автор анонимного издания, наконец, назван — более чем через 190 лет после выхода произведения в свет).

По словам И. И. Дмитриева, эпистола Шувалову была *написана* в Казани, когда Державин, вскоре после женитьбы, ездил на родину. Я. К. Грот, знавший свидетельство Остолопова (т. е. самого Державина), был осторожнее в своих суждениях. Он полагал, что эпистола была написана в Петербурге, но *дополнена* в Казани новой концовкой:

* Цитаты из стихотворений, вошедших в изданиях «Библиотеки поэта», приводятся по этим источникам. В остальных случаях выходные данные упоминаемых и цитируемых сочинений (не указанные особо в примечаниях) см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725—1800. М., 1962—1966. Т. 1—4.

¹ Подробнее см.: Заповод В. А. Неизвестная ода Г. Р. Державина // XVIII век. Л., 1976. Сб. 11. С. 159—165.

С пределов болгарских, с отпадших стран Луны,
Едигиреев трон и род где пограны <...>
Тобой Елисавет где водворила муз <...>
Отголь сей идет глас, отголь сей лирный звон;
Из отдаленности к тебе усерден он.

Обнаружение первого издания 1777 г. показало, что во всех редакциях, начиная с первоначальной, эта концовка имелась. Иначе говоря, «Эпистола к И. И. Шувалову» целиком создана в Петербурге в 1777 г. Концовка же произведения, якобы сочиненная казанским жителем, была, очевидно, нужна Державину не столько для того, чтобы «полнее обозначить свое отношение к Шувалову», как писал Грот, сколько для маскировки от А. А. Вяземского.

Дело, однако, не только, так сказать, в «самосохранении» поэта. Сопоставление державинской эпistolы с произведениями, написанными его современниками на тот же случай (а затем и расширение материала по сходности поэтических принципов), и рассмотрение эпistolы 1777 г. в контексте творчества самого Державина 70—80-х гг. позволяют выявить еще одну любопытную линию, связанную с эволюцией державинского понимания положения и роли поэта в обществе, его трактовки назначения и функции поэзии.

Об этом и пойдет речь в данной работе (конкретный же анализ самой эпistolы — предмет особого разговора).²

Тщательно охраняя свое инкогнито, Державин сумел придать ему в «Эпистоле» принципиальный характер. Безымянный выразитель «общего гласа», общественного мнения — такова позиция, с которой выступает поэт:

Се ревностный тебе я всех любви свидетель,
Из благодарности стихов моих содетель.
Не ведал ты меня, благоденья лил:
Не знай, друг общества, кто здесь тебя хвалил.
Довольно лишь внимай ты истину высокоу:
Глас общий никогда не похвалял пороку.

«Эта эпистола, — отметил П. И. Бартенев, — весьма замечательна по независимости и смелости суждений и самых похвал: в ней уже подробно и резко излагается мнение Державина об обязанностях вельможи».³

Насколько справедливо замечание ученого о независимости позиции, занятой поэтом, можно видеть из сопоставления державинской эпistolы с другими произведениями, посвященными в том же 1777 г. И. И. Шувалову.

² См.: Запад В. А. Державин и поэтика русского классицизма. Статья 2-я. «Шуваловская» эпистола Державина // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Метод и жанр. Л., 1985. С. 45—61.

³ См.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Спб., 1864. Т. 1. С. 51.

Любитель искренний Шувалов чистых муз,
Позволь мне ныне свой язык решить от уз, —

так начинается, сходно с державинской, эпистола А. Фрязиновского. Далее следуют сплошные похвалы, безудержно выпрениение и весьма неконкретные, вроде:

Огнем любви ко всем твой воспламененный дух
Усердствовал являть, колико мог, услуг.

Затем стихотворец обращается к главной, с его точки зрения, заслуге Шувалова:

Но как полям нельзя прекрасно расцвести
И плод посеянный сторично принести,
Когда умеренно не будут орошенны
И солнечным лучем во время освещены:
Так тщетно бы и ты старание имел,
Чтоб вертоград наук и рукоделий цвел,
Когда б за ревностно во оных упражненье
Не доставлял ты всем достойно награжденье.
Ты, ведая сие, премудро наблюдал
И всем довольные щедроты проливал.

За этим следует исторический экскурс в воспоминания о Ломоносове и других поэтах (безымянных), которым покровительствовал Шувалов. Наконец, Фрязиновский переходит к делу и выражает свои надежды:

Любезно обратишь ты взор свой на Парнасс,
Ты будешь Меценат и станешь щедрить нас.
На милости твои мы твердо уповаем
И тако мысль сию столь смело открываем,
Мы, зная прежнее, предчувствуем сие
И скоро оному увидим збытие.

О том, что надежды Фрязиновского не остались втуне, с полной определенностью свидетельствуют первые же строки следующей его эпistolы, поднесенной в день тезоименитства Шувалова, 12 ноября 1777 г.:

Еще щедренна, о Муза! возыграй
И меценату долг усердием воздай. . .

Сравнив Шувалова с его тезоименником — святым Иоанном Милостивым, который «безмездно лил на всех обильные щедроты», Фрязиновский и далее тянет ту же ноту:

Но ты, добротами сияющий вельможа!
Не в след ли вшел его, таких дел соим умножа?
Твоя исполненна богатством благ рука
Не пролияла ль их обильно, как река? . .

Решительно неспособный отойти от столь интересной темы, Фрязиновский включает в свою эпистолу прелюбопытнейший перифраз Горация:

Ты оными себе воздвиг бессмертный вид,
Что крепче мрамора и выше пирамид;
Его не повредит ниже завистна ревность,
Ни бурный Аквилон, ниже все жруща древность.
Хоть тленный твой состав, подобно смертным всем,
Преобразится в прах, и кости будут тем;
Хоть купно с оным дух от смертных удалится
И в горняя места отсюда преселится;
Но имя с честью твоею не умрет,
В чувствительных сердцах ничто их не сотрет,
И слава дел твоих дотоле не увянет,
Доколе смертных род жить в здешнем свете станет.

В заключение эпистолы стихотворец обращается к богу с мольбой за Шувалова:

Да сей веселый день он празднует стократно,
А мы по-прежнему воспользуемся им.

Эти несколько наивные в своей циничной откровенности стихи лучшим образом завершают вторую эпистолу Фрязиновского, обращенную к Шувалову.

Нельзя не обратить внимание на то, как ловко эксплуатирует Фрязиновский самые популярные, самые новейшие в поэзии 70-х гг. идеи, своеобразно трансформируя их. Стихи Горация, проповедника умеренности и философии «золотой середины», используются для вымалывания благ земных. Той же цели служит «чувствительная» тематика и терминология, которая задолго до Карамзина распространяется так широко, что берется на вооружение даже профессиональными «сочинителями в прихожей». Вместе с тем обе эпистолы Фрязиновского (как, впрочем, и другие его стихи) являются прекрасным свидетельством того, насколько метким было злое державинское уподобление «похвальных од подносителей» «нищим, сидящим с простертыми руками и ковшиками на мостах».⁴

Дело, конечно, не во Фрязиновском: здесь мы сталкиваемся с широким литературным пластом, который почти не освоен нашим литературоведением. Речь идет о таком весьма специфическом историческом явлении, как литературный сервиллизм, — явлении, которое началось не с Фрязиновского и на нем не окончилось.⁵ Проявления этого сервиллизма нередко объясняют в работах

⁴ Сочинения Державина. . . 1866. Т. 3. С. 608.

⁵ Это явление освещают статья Л. Я. Гинзбург 1935 г., содержащая публикацию стихов Рубана, статья М. П. Лепехина о прихлебателях Дмитриева-Мамонова, диссертация В. П. Степанова о Чулкове и Л. В. Камединой о Комарове. Везде, однако, речь идет о частных фактах сервиллизма, в целом же об этом явлении писал едва ли не один Л. В. Пумпянский.

о том или ином писателе особенностями его характера, личности (именно так неоднократно писали о Тредиаковском), «личным удовольствием»⁶ и тому подобными частными причинами.

Однако, как показал Л. В. Пумпянский в посмертно опубликованной работе, мораль сервиллизма, характерная для интеллигентов из бюргерства (применительно к России — интеллигентов из разночинцев), была в эпоху абсолютизма «общевропейским», «повально общим явлением». Своеобразную энциклопедию, «полный свод абсолютистской морали» представляла собой «Аргенида» Баркляя (1621) — «одна из влиятельнейших книг эпохи абсолютизма, настольная книга Ришелье. . . Но „Аргенида“ представляла и самую настоящую героизацию сервиллизма».

На русскую почву эту мораль из Европы занесли Юнкер и Штелин, академики — поэты немецкой «школы разума», «тень которой стояла над колыбелью русского классицизма».⁷ Из русских литераторов старшего поколения наиболее полно воспринял уроки европейской морали сервиллизма Тредиаковский, который последовательно воплощал их в реальной жизни и — что важнее — в литературной практике. С полной откровенностью Тредиаковский писал об этом уже в посвящении привезенного из Европы первого большого труда — перевода «Езды в остров Любви», обращаясь к князю А. Б. Куракину: «За высокую Вашего сиятельства ко мне милость, которую отечески в чужестранных краях изволили Вы мне противу чаяния моего показать и чрез несколько лет на ваших деньгах содержать, я восприемлю смелость ныне приписать сию новопреведенную мною книжку Вашему сиятельству в знак благодарного моего чюствия и сердца. . .»

После столь откровенного начала тема «щедрот», «милостей» (по преимуществу денежных) будет изливаться из-под пера Тредиаковского постоянно, до конца дней его — и в стихах (см., например, «Стихи. . . Анне Иоанновне по слове похвальном» 1732 г., «Оду благодарственную» Елисавете Петровне и т. д.), и в посвящениях теоретических трудов (см., например, посвящения «Разговора об орфографии», «Слова о витийстве» и пр.), и в многочисленных прошениях на имя императрицы, К. Г. Разумовского и т. д. Вполне закономерно поэтому, что именно Тредиаковскому принадлежит перевод «Аргениды» — так сказать, «теоретическое обоснование» литературного сервиллизма.⁸

В связи с вопросом о сервиллизме Тредиаковского нельзя не напомнить об одном историко-литературном заблуждении, касающемся интерпретации отношения Екатерины II к «Тиле-

⁶ XVIII век: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1935. С. 412.

⁷ Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Л., 1983. Сб. 14. С. 6—7.

⁸ Хотя произведение Баркляя в принципе было известно еще русским книжникам и литераторам конца XVII в., но фактом широкого литературного сознания оно стало в России лишь в переводе Тредиаковского.

махиде». На протяжении последних 50 лет в статьях, академических историях литературы, учебниках варьируется мысль, будто бы императрица насмеялась над «Тилемахидой» из-за либерализма (или даже радикализма) Тредиаковского. «„Тилемахида“ решительно не подходит к обстановке екатерининского двора. С ней и ее автором приходилось бороться».⁹ Или: «Екатерина II и ее окружение старались всячески скомпрометировать и „Тилемахиду“, и ее автора, обвиняя его в художественной несостоятельности <...> В советском литературоведении (начало положил академик А. С. Орлов) доказано, что императрицу не удовлетворяла не форма произведения, а его содержание. В „Тилемахиде“ Тредиаковский выступает сторонником либерального государственного правления. . .»¹⁰

Действительно, эти идеи были высказаны А. С. Орловым — устно в 1927 г., а затем развиты в статье 1935 г., где, в частности, говорилось: «Критика и оппозиция абсолютной монархии, пассивистские идеи и утопические уроки Фенелона, переведенные Тредьяковским, не только обидели Екатерину, но показались ей прямо опасными, так как через издание Тилемахиды входили в общественное обращение».¹¹

Однако, несмотря на общепризнанность концепции А. С. Орлова, сама она представляется плодом некоего недоразумения. Дело в том, что еще в 1747 г. был опубликован выполненный в 1734 г. перевод «Похождения Телемака», переизданный в 1767 и 1782 гг.; «Странствования Телемака» в переводе И. С. Захарова вышли в 1786 и 1788 гг.; «Приключения Телемака» в переводе П. Железникова впервые изданы в 1788—1789 гг.; одноименный перевод Ф. П. Лубяновского — в 1797—1800 гг. К семи перечисленным изданиям следует прибавить еще два рукописных перевода (прозаический и стихотворный), на которые указал сам Тредиаковский в «Преддизъяснении об ироической пииме». Таким образом, «идеи» и «уроки» Фенелона вошли «в общественное обращение» помимо «Тилемахиды», задолго до нее и на протяжении всего столетия пользовались неизменным вниманием литераторов и читателей. Но, коль скоро сам Фенелон не вызывал противодействия (наоборот, известны факты поощрения именно за перевод «Телемака»), непонятно, почему его идеи вдруг становились «прямо опасными» в переложении Тредиаковского, особенно если учесть, что, переделав философско-политический роман в древнюю «ироическую пииму», он ослабил современное сатирическое звучание, «дух и формы своего образца». Итак, при всей социологической привлекательности концепции А. С. Орлова,

⁹ Тимофеев Л. И. Василий Кириллович Тредиаковский // Тредиаковский В. К. Избр. произведения. М.; Л., 1963. С. 10.

¹⁰ Федоров В. И. История русской литературы XVIII века. М., 1982. С. 75—76.

¹¹ Орлов А. С. «Тилемахида» В. К. Тредиаковского // XVIII век: Сб. статей и материалов. С. 23—24.

она противоречит многочисленным фактам истории русской культуры XVIII в. Вернемся, однако, к пропагандировавшейся Тредиаковским морали сервиллизма.

В 50—90-е гг. различные проявления этой морали захватили десятки литераторов — стихотворцев, прозаиков, драматургов (В. Лукин и М. Чулков, М. Попов и М. Комаров, В. Рубан, А. Фрязиновский, В. Протопопов, Я. Белявский, Д. Дмитриевский и мн. др.). Поэтика сервиллизма, первоначально связанная почти исключительно с придворными сферами, затем распространилась вширь и охватила своей продукцией не только круги «вельможных меценатов», но и высокопоставленных священнослужителей (сохранилось изрядное число рукописных и печатных сборников, отдельных изданий стихов и речей, адресованных митрополитам, архиепископам, епископам), богатых заводчиков и купцов (характерный, но отнюдь не единственный пример — стихотворная продукция В. Рубана).¹² У этой поэтики были свои учебники, вроде «*Politischer Redner*» («*Политический оратор*», 1677) Хр. Вайзе, где доказывалось, что искусная лесть — важная и нужная наука, ибо «весь мир исполнен комплиментов»: «Цветы раскрываются утром, приветствуя восход солнца, своего повелителя, птицы в честь его начинают петь; железо движется, едва почувствовав влияние магнита» и т. д., — словом, «сама природа учит комплиментом». ¹³ Русские стихотворцы второй половины XVIII в. этого учебника, кажется, не читали, но сами принципы комплиментирования адресатов были весьма сходными. При этом подчас возникала очень любопытная «смесь античного с нижегородским», а то и библейским. Так, в стихах «Слеза, вылившаяся из сердца Музы при разлуке с Фебом» (1799) под Музой разумеется Коломенская семинария, а под Фебом — «преосвященнейший Афанасий, епископ Воронежский и Черкасский»; эта весьма чувствительная слеза (ведь «вылилась» она в годы засилья карамзинизма) пролилась по случаю «отбытия его преосвященства из города Коломны в Воронежскую епархию». Зато в стихах В. Рубана 1777 г. шведский король Густав III и фаворит Екатерины С. Г. Зорич сопоставляются соответственно с Илией и Елисеєм, библейскими пророками. У того же Рубана другой фаворит императрицы П. А. Зубов становится «членом Военного приказа» (т. е. Военной коллегии), «которому и Марс послушен и Нептун», и т. д.

Вокруг отдельных «меценатов» складывались своеобразные «литературные кружки», точнее говоря — на этих меценатах существовали колонии «паразитов» (поэтических нахлебников-блюдолизов). Примером такого явления может служить литературное окружение Дмитриева-Мамонова, охарактеризованное в публикации М. П. Лепехина «„Дворянин-философ“ в кругу почитателей»,¹⁴ — название заведомо неточное, ибо, как явствует из со-

¹² *Гинзбург Людья*. Неизданные стихотворения Рубана // XVIII век: Сб. статей и материалов. С. 411—432.

¹³ См.: *Пушлянский Л. В.* Ломоносов и немецкая школа разума. С. 26—27.

¹⁴ См.: XVIII век. Сб. 14. С. 304—319.

чинений этих «почитателей», все они — именно «паразиты» в греческом значении этого слова.

Очень откровенно сопрягаются литературный «паразитизм» и сервиллизм с такими понятиями, как «сын отечества» и «польза общества» в «Эпистоле» Павла Денбовеца 1770 г.

Любитель истины, достойный дворянин
И польза общества усердствующий сын, —

обращается к своему меценату автор в первых строках своей «Эпистолы». Дальше он переходит на прозу, впрочем, весьма откровенную: «Я, с самого моего малолетства не имея никаких сродственников, благодетелей и покровителей, часто старался искать милости моими в учености трудами у таких особ, которые богатством были изобильны и кои могли весьма свободно снабдить меня в бедном состоянии; но вся моя ревность и труды были тщетны < . . . > Знаки твоих (т. е. Дмитриева-Мамонова. — В. З.) добродетелей довольно меня уверяют, что ты благосклонно призиришь на мое прошение. О, если бы судьба благоволила видеть тебя своим мне покровителем, то бы, отложив все беспокойства, касающиеся к подкреплению моего состояния, крайнее приложил рачение к наукам и, просветивши оными свой разум, веселым бы духом сие провозгласил:

Воззри, отечество, на сердце сего сына:
Для счастья людей цветет его судьбина.
Мамонов мне тогда блаженство даровал,
Когда под бременем я бедности стонал.
Ничто не повредит души моей покою,
Когда сень крыл твоих прострется надо мною».

Аналогична по смыслу обращенная к Дмитриеву-Мамонову «Ода» Михайлы Угрюмова:

Но о какой мне кант воспеть
Предстателю и меценату!
Ты сердце в век сокрыл ко злату,
А в щедрости подобных нет.

Вполне закономерно, что в стихах «ученика Московского университета» в ход идет ломоносовская поэтика, образность, фразеология, синтаксис:

Но кая сила утомляет
Мой шумом пораженный слух;
Не злость гигантов ли являет
И зиждет гóру тел сих вдруг;
Не реки ль громко зашумели
И хляби Этны заревели,
Смутить чтоб злом всей чести взор?
Ах, нет: те страшные громады
Здесь ждут от щедрости награды
И радостных тьму зиждут гор.

Плутон здесь вскрыл сокровищ недра,
И с золотом Пактол разлился;
Натура что имела щедра,
Ея краса предстала вся.
Сапфиры с яхонтами блещут;
Рубин с смарагдом блески мещут
И помрачают взор очей. . . и т. д.

Словом, все 230 стихов «Оды» Михайлы Угрюмова довольно однообразны:

Сего героя толь позная,
О, как взнесу мой слабый глас!
Но всю надежду полагая
На том, что щедр ты всех для нас. . .

Гораздо короче и прямее выразился Василий Рубан. Сочинив известную, действительно небесталанную надпись к Камнюгрому и передавая ее Потемкину, Рубан приложил к ней четверостишие

К ФЕБУ ПРИ ОТДАЧЕ СТИХОВ НА КАМЕНЬ

Мне славу Камень дал, а прочим вечный хлеб:
При славе дай и мне кусочек хлебца, Феб!
Да не истлеет весь от гланда лирный пламень.
Внемли молениям, Феб! Не буди тверд, как камень.

После всего сказанного понятно, что две эпистолы А. Фрязиновского, адресованные Шувалову в 1777 г., отнюдь не являлись чем-то патологическим, а, наоборот, по пронизывающей их меркантильности представляли собой вполне обычное для сервильной поэзии явление.

Сервильизм довольно рано вызвал противодействие поэтов гражданского направления. По-видимому, к весне 1765 г. относится «эпическая поэма» Я. Б. Княжнина «Бой стихотворцев». Рисую в начале песни второй владения богини «Охота писать» («Алчба писать», «Охота сочинять» — т. е. богини Графомании), расположенные в глубине «Геликонских блат», Княжнин на первом месте поместил ревностнейшего служителя богини Графомании, не забыв сразу указать на характернейшие приметы его творчества:

Там Тредьяковский, сей поэзии любитель,
Для рифмы разума, рассудка истребитель,
На куче книг лежя, есть просит, пить в стихах. . .

По той же линии идут обличения «дурных писцов» в «Сатире первой» В. В. Капниста:

Но можно ли каким спасительным законом
Принудить Рубова мириться с Аполлоном?
Не ставить на подряд за деньги гнусных од
И рылом не мутить кастальских чистых вод? . .

Наибольшей резкости обличение литературного сервилизма достигло у А. Н. Радищева. Рассматривая явление в историческом аспекте и явно имея в виду настоящее, поэт при характеристике «века Августа» ввел в число «льстецов наемных» Горация и Вергилия.¹⁵ Далее в «Песни исторической» следует инвектива общего характера:

О умы, умы изящны,
Та ли участь мусс, чтоб славить,
Кто вам жизнь лишь не отъемлет
Иль, оставя вам жизнь гнусну,
Даст еще кусок, омытый
В крови теплой граждан, братьев?

Эти стихи — одно из самых сильных в русской поэзии выступлений против сервилизма в любых его формах.

Впрочем, надо заметить, что и сама сервильная поэзия отнюдь не была чем-то единым, «монолитным».

Явно отделяя себя от рядовой «паразитствующей» братии, поэтов-«льстителей», Василий Петров сделал попытку поставить проблему на некое подобие принципиальной почвы — обосновать общественную пользу отношений меценатства — сервилизма. В его «Оде . . . Г. А. Потемкину» 1777 г. щедрость мецената (Потемкина) противопоставлена как бессмысленной расточительности, так и эгоистической скупости:

Роскошный злато расточает
И тщится угостить весь мир;
Чрез ложный блеск быть виден чаёт
На время льстителей кумир.
Скупой, душа в серебре зарыта,
Все жрет в себя, как хлябь несyta,
Как ад, не отдающий жертв,
Рodne, друзьям и свету мертв.
Сокровищница мужа щедра
Стоит отверста, как самой природы недра.
Видь, коль Потемкина ни дарствует рука,
Он полон как река!

Этот пассаж отнюдь не случаен у Петрова, который и впоследствии отделял себя от поэтов — «наемников вельмож»:

Поют для мзды и лести
Наемники вельмож;
Их грудь не знает чести:
Их песни безобразна ложь.
Ты, Кляя, что вещаешь,
То в сердце ощущаешь. . .

Сервилизм мог приобретать различные, в том числе и весьма тонкие формы. Более того, в угоду своему меценату поэт порою

¹⁵ Как известно, в прозе Радищев именовал двух великих поэтов Древнего Рима еще более резко: «льстец Августов и лизорук Меценатов».

сочинял и злую сатиру — притом сатиру даже остро социальную, осмеивая явления, враждебные меценату. Пожалуй, самым ярким примером такого рода служит шутотрагедия Крылова, написанная им для князя С. Ф. Голицына (мужа племянницы Потемкина), при Павле оказавшегося в опале. Приведу обширную цитату из статьи Г. А. Гуковского, весьма выразительно характеризующую этот эпизод: «При Голицыне Крылов был не то приживальщиком, не то служащим < . . . > Крылов живет у Голицына в деревянном флигеле, рядом с конторой, и дает уроки сыновьям Голицына и другим детям (М. П. Сумароковой и Ф. Ф. Вигелю), так как Голицын приехал в свою деревню настоящим феодалом в немилости, с целым двором; Крылов, кроме того, играет в триктрак с сыном Голицына, дает маленькие концерты на скрипке для „милостивца“ и его семьи; мало того, Крылов сочиняет для „милостивца“ и именно в таком духе, чтобы угодить ему, шутотрагедию „Поддипа“. Это — веселая шутка для любительского спектакля в доме Голицына; но Крылов искусно ввел в нее сатиру на „гаичинцев“ Павла I, на его немецких фрунтманов, на тупоголовых вояк прусского образца, то есть как раз на тех людей, которые заменили у трона прежних, екатерининских людей, которые и самого Голицына загнали в Казацкое. Трудно было более ловко подольститься к „меценату“. Так началась эта линия крыловской творческой неискренности; он писал в том направлении мыслей, которое требовалось его „покровителями“ или властью, притом не грубо льстя, а тонко подделываясь под чужой вкус».¹⁶

Здесь же — из воспоминаний Вигеля — ученика Крылова: «Обхождением его со мной я был очень доволен: правда, он напоминал мне иногда о почтении, коим обязан я ребятам, молодым князьям, моим товарищам, что мне весьма было не по сердцу; но зато маленькому англичанину Личу при мне говорил он, что ему не следует забываться передо мной, генеральским сыном».

Гуковский комментирует: «Эту молчалинскую мораль проповедовал в 1800 году тот самый человек, который в 1792 году написал „Каиба“».

С широким распространением литературного сервилизма прямо соотносится проникновение в русское дворянское общество идущих опять-таки из Европы представлений о занятиях поэзией как о чем-то недостойном благородного человека. Еще в 1747 г. на русском языке вышла в переводе С. Волчкова книга Бельгарда «Совершенное воспитание детей. . .», где, в частности, шла речь и об отношении к литературе, которое надо воспитывать в молодых дворянах: «Нехудо, ежели шляхтич древних и новых стихотворцев книги знает и при случае на своем языке вирши сделать может, только бы сия охота для забавы была, а в слепую страсть не обратилась. Стихотворство в том особенное несчастье имеет, что всю свою красоту и почтение теряет, ежели человек публич-

¹⁶ Гуковский Гр. Иван Андреевич Крылов // Крылов. Полн. собр. стихотворений. [Л.], 1935. Т. 1. Басни. С. 53—54.

ным рифмоторцем или явным учителем поэзии сделается, а для того сей талант с великою осторожностью употреблять надо».¹⁷

Подобные «европейские» воззрения на поэзию нашли сторонников и на русской почве. Тредиаковский в известном «Письме к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии» без обиняков утверждал, что «прежде стихи были нужное и полезное дело; а ныне утешная и веселая забава, да к тому ж плод богатого мечтания к заслужению не того вещественного награждения, которое есть нужно к препровождению жизни, но такова воздаяния, кое часто есть пустая и скоро забываемая похвала и слава». Из этого следовал «образно-поэтический» вывод: «Потолику между учениями словесными надобны стихи, поколику фрукты и конфекты по твердых кушаний». Впрочем, в ходе дальнейших рассуждений Тредиаковского мысль о «вещественном награждении» подкреплялась достаточно ясно: знание поэзии «по всему есть похвально, а часто и прибыточно».¹⁸

Поэтому вполне понятны обвинения, направленные против продажности «публичных рифмоторцев», а заодно и против самой поэзии, которые и позднее появлялись на русском языке. Так, в «Дворянском училище» Мобера де Гуве (перевод Е. Харламова) содержались резкие инвективы против писателей (в том числе Вольтера), которые сделали из своего ремесла доходный промысел и тем уподобились актерам, играющим за плату.¹⁹

Неутомимую, можно сказать, героическую борьбу с подобными представлениями о поэзии вел Сумароков, но практически в этой борьбе он остался в одиночестве.²⁰

Начиная с 60-х гг. реакция на широко распространившуюся мораль сервиллизма дала в русской поэзии различные, прямо противоположные позиции.

С одной стороны, среди массы дворян пышным цветом цветет тот самый джлетантизм, необходимость которого пропагандировали для дворян как европейские, так и русские теоретики сервильной поэзии и узкословного воспитания. Любой мало-мальски грамотный дворянин по случаю мог скропать несколько стихотворных строк с помощью устойчивых поэтических штампов (и в этом отношении шли в ход и классицистические, и сентиментальные штампы) и советов «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» Тредиаковского в издании 1752 г., «Правил пиитических» Аполлоса Байбакова и т. д.

С другой стороны, русский предромантизм (а позднее романтизм) типу продажного поэта противопоставил тип поэта «по вдохновению», а пониманию стихотворства как вкусного, но необязательного лакомства — «фруктов и конфект» для лучшего пищеварения — взгляд на поэзию как на нечто возвышающее

¹⁷ Бельгард Ж. Б. М. Совершенное воспитание детей. . . Спб., 1747. С. 91.

¹⁸ Тредиаковский. Стихотворения. [Л.], 1935. С. 417—419.

¹⁹ Мобер де Гуве Ж. А. Дворянское училище. . . Спб., 1764. С. 155.

²⁰ См.: Степанов В. П. К вопросу о репутации литературы в середине XVIII в. / XVIII век. Сб. 14. С. 111—114.

поэга и отличающее его от прочих смертных, как на средство познания и преобразования действительности. Предромантический идеал «гения», творящего по наитию, противостоит наемнику-профессионалу, «усиливающемуся писать», как говорили в XVIII в., по велению начальства или ради презренного металла.

Одним из первых на новом этапе вступил в борьбу с господствующими взглядами на литературу М. Н. Муравьев, который уже в 1775 г. осмыслил созидательный характер творчества:

Стихотворство нам открыло
Путь в лазурны небеса,
Стихотворство сотворило
И богов и чудеса. . .²¹

В письмах и заметках Муравьева можно обнаружить весьма интересные материалы, касающиеся как самого литературного сервиллизма, так и его следствий. Так, 7 августа 1777 г. Муравьев писал отцу: «Недавно видел я стихи г. Рубана к Семену Гавриловичу Зоричу, за которые получил от государыни золотую табатерку с 500 червонных. Не можно вообразить подлее лести и глупее стихов его. Зачинает с Илии пророка, которого равняет шведскому королю, а Зорича Елисею. Пишет, что, как шведский король облек его геройскою славою (т. е. наградил орденом Меча. — В. З.), Зорич наш и удивился. Какая прекрасная позитур! Я бы хотел посмотреть: просит Зорича, чтобы он явленную добродетель всегда оказывал и продолжал. — Нельзя всего перечесть. Со всякого стиха надобно разорваться от смеу и негодования».²² А в следующем, 1778 г. сам Муравьев написал сказку «Живописец» (напечатана в 1779 г.), которая от начала до конца посвящена мысли о необходимости творческой независимости в искусстве: богатство, почести, сама близость к сильным мира сего (пусть даже «художеств благодетелю») неизбежно влекут за собой утрату дарования.²³

Наконец, существовал еще третий путь, достаточно распространенный в среде русских поэтов, — это путь, который совмещал серьезнейшее, профессиональное внутреннее отношение к литературе с демонстративной внешней позой поэта-дилетанта. Причины понятны и тут: отвращение к сервильной морали вообще и литературному сервиллизму в частности. Тот же Муравьев зафиксировал ход этого процесса у одного из своих ближайших друзей: «Ханыков от омерзения Рубана перешел к омерзению стихотворства».²⁴ Тем не менее В. В. Ханыков, хотя и редко вы-

²¹ Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967. С. 120.

²² Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 269. Выдержки из стихов Рубана, пародийно изложенных Муравьевым, см.: Там же. С. 367.

²³ Муравьев М. Н. Стихотворения. С. 174—176. В дальнейшем мысль о независимости художника будут настойчиво развивать Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев и другие литераторы-сентименталисты.

²⁴ Там же. С. 25.

ступал в печати, писал стихи до самой смерти (известны высокие отзывы, которые давал им столь компетентный знаток поэзии, как Гете),²⁵ — причем занимался он поэзией настолько серьезно, что его младший современник А. И. Тургенев (кстати, также вполне «дилетант» в литературе) заметил: «Был у Ханыкова <. . .> Стихи хороши; но грустно видеть старика, отжившего век на стихах».²⁶

Еще более яркое выражение поза поэта-дилетанта, занимающегося стихами только на скорую руку, между делом, в свободное время, нашла в творчестве Н. А. Львова — одного из самых оригинальных талантов столетия.

Не вдаваясь в подробности, позволю себе напомнить только о свойственной Львову манере демонстративно подчеркивать, что пишет он «между делом», «урывками» и т. д. Эта манера проявляется у Львова рано: уже на автографе стихотворения «Увы! что в свете есть злей муки. . .» стоит характерная для поэта уточняющая помета: «1774 авгу<ста> 8 у Баку<ниных>» — и приписка в конце: «На скору руку. Август 1774».

Отправляя адресату «Эпистолу к А. М. Бакунину. Фортуна» Львов в начале опять-таки делает помету: «Из Павловского июня 14. 1797», а затем следует приписка: «Пришли, пожалуйста, назад, я как написал, так к тебе и посылаю, у себя помарочки не осталось». Любопытно, что в рукописном собрании стихотворений Львова сама «Эпистола» переписана писцом, затем рукой Львова прибавлена цитированная приписка, а после нее — снова рукой писца — ответ Бакунина: «Вот вам копия; у вас кто-нибудь разберет и переписет, а оригинала не отдам. . .»

Аналогично в письме 24 мая 1799 г., сочиненном стихами и прозой по поводу стихотворения Державина «На победы в Италии» и адресованном ему же. После письма постскриптум: «Глаза у меня так болят, что я не токмо сам писать, но и поправить писанного не могу <. . .> Что продиктовал, того у меня не осталось, а потому для справки прошу прислать мне копию, которую ящик списать не позволяет» (между прочим, это письмо, вместе с постскриптумом, переписано в собрании стихотворений дважды).

То же в письме П. В. Лопухину: «Июля 18 дня 1801-го года: «Не прогневайтесь, что не успел переписать, пишу на чужой бумажке, в канцелярии Александра Андреевича, ожидая его возвращения, а почта идет и не ожидает». Опять-таки и это письмо, написанное «на чужой бумажке», которое автор якобы «не успел переписать», аккуратнейшим образом зафиксировано в сборнике стихотворений.

Надо заметить, что демонстративная поза поэта-дилетанта сослужила Львову посмертно весьма дурную службу: исследователи, поверив поэту на слово, довольно долго утверждали, что Львов не только не придавал своим стихам значения, но и не печатался, хотя в действительности Львов был анонимным участ-

²⁵ См.: Лит. наследство. М., 1932. Т. 4—6. С. 240—242.

²⁶ Там же. С. 240.

ником едва ли не всех крупнейших изданий своего времени — «Санктпетербургского вестника», «Собеседника любителей русского слова», «Московского журнала», «Аонид», «Музы», других периодических изданий, печатал свои произведения и отдельно. Однако созданная в литературных целях поэтическая маска доньше влияет на судьбу львовского наследия (этим, в частности, объясняется отсутствие собрания стихотворений Львова в «Библиотеке поэта»).

Думается, что в определенный момент аналогичная позиция поэта-дилетанта — на словах по крайней мере — была свойственна и Державину. Настойчивое повторение, что он «поет» «от должности в часы свободны», анонимные выступления в печати, резкие выпады против «похвальных од подносителей», — все это связано не только с необходимостью обороны от начальства (генерал-прокурора кн. А. А. Вяземского и подобных ему), но и с принципиальным нежеланием становиться в ряд обыкновенных «цевых стихотворцев».

Поэтому, адресуя киргиз-кайсацкой царевне Фелице свою анонимную оду, мурза-автор резко отмежевался от современной поэзии, особо подчеркнув:

Хвалы мои тебе примета,
Не мни, чтоб шапки иль бешмета
За них я от тебя желал.
Почувствовать добра приятство
Таков есть души богатство,
Какого Крез не собирал.

«Фелица» была создана в 1782 г., а после публикации ее в 1783-м, узнав имя автора, императрица отреагировала вполне стандартно: отправила поэту золотую табакерку с 500 червонцев. Очевидно, эта ситуация привела к тому, что Державин должен был как-то по-новому определить свое поэтическое кредо. В сочиненной в том же году «Благодарности Фелице» отчетливо совмещаются две позиции: новая — вдохновенного певца и старая — поэта-дилетанта:

- (1) Когда небесный возгорится
В пиите огонь, он будет петь;
- (2) Когда от бремя дел случится
И мне свободный час иметь,
Я праздности оставлю узы,
Игры, беседы, суеты,
Тогда ко мне придут музы,
И лирой возгласишься ты.

Вопреки субъективному намерению поэта, который в «Фелице» был искренен в своих похвалах, ода была истолкована, по словам Державина, как «неприличная лесть» императрице, вызвала много и других неблагоприятных для автора суждений. Возражая на них, Державин написал одно из лучших своих стихотворений — «Видение мурзы». Явившись ночью, пекая «жена» — «жрица» или

«богиня» вещает мурзе-певцу «страшны истины», обусловленные тем, что «поэзия не сумасбродство, но вышний дар богов». Вот эти «страшны истины»:

Владыки света люди те же,
В них страсти, хоть на них венцы;
Яд лести их вредит не реже,
А где поэты не льстецы?
И ты сирен поющих грому
В вред добродетели не строй.
Благотворителю прямому
В хвале нет нужды никакой.
Хранящий муж честные нравы,
Твори свой долг, свои дела,
Царю приносит больше славы,
Чем всех пиитов похвала. . .

Отвечая на упреки этой «жены» (оказывается, это видение — сама Фелица) и на толки, вызванные одой, Державин, в частности, подчеркивает свою искренность:

Иной вменял мне в преступленье,
Что я посланницей небес
Тебя быть мыслил в восхищенье
И лил в восторге токи слез.
И словом, тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов.
Но пусть им здесь докажет муза,
Что я не из числа льстецов;
Что сердца моего товаров
За деньги я не продаю,
И что не из чужих анбаров
Тебе паряды я крою. . .

По-своему парадоксально то, что Державин заставил в «Видении мурзы» вещать «страшны истины» именно Фелицу, т. е. саму Екатерину II, которая как раз и жаждала от поэта новых похвальных од. Для этого императрица сделала поэта своим статс-секретарем и неоднократно намекала ему на свое желание. Оценка этой ситуации Державиным известна:

☞

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, птичка, пой».

Когда же по наущению императрицы к поэту с аналогичным советом обратился А. В. Храповицкий, Державин высказался сдержанно, но определенно:

Товарищ давний, вновь сосед,
Приятный, острый Храповицкой!
Ты умный мне даешь совет,
Чтобы владычице киргизской
Я песни пел
И лирой ей хвалы гремел.

Так, так, — за родственны стишки
 Монисты, гривны, ожерелья,
 Бесценны перстни, камешки
 Я брал с нее бы за безделья,
 И был — гудком —
 Давно мурза с большим усом. . .
 Богов певец
 Не будет никогда подлец.

Потому, сочиняя похвальные оды по заказу («Решемыслу») или по необходимости («Изображение Фелицы», «На рождение царицы Гремиславы»), Державин внешними похвалами всегда создавал программу, «каковым вельможам быть должно», «каковым царям быть должно». ²⁷ И когда по воцарении Павла тот же Храповицкий стихами упрекнул Державина в лести Потемкину и Зубовым (а подразумевалось прежде всего, конечно, — покойной Екатерине), поэт ответил стихами же:

Храповицкой! дружбы знаки
 Вижу я к себе твои:
 Ты ошибки, лести и враки
 Кажешь праведно мои;
 Но с тобой не соглашуся
 Я лишь в том, что я орел.

А по-твоему коль станет,
 Ты мне путы развяжи;
 Где свободно гром мой грянет,
 Ты мне небо покажи;
 Где я в поприще пушуся
 И препон бы не имел?

Где чертог найду я правды?
 Где увижу солнце в тьме?
 Покажи мне те ограды,
 Хоть близ трона в вышине,
 Чтоб где правду допускали
 И любили бы ее.

Страху связанным цепями
 И рожденным под ярмом
 Можно ль орлими крылами
 К солнцу нам парить умом?
 А хотя б и возлетали —
 Чувствуем ярмо свое. . .

По-видимому, именно этот трезвый взгляд на вещи, вообще свойственный Державину, не давал ему возможности до конца принять до поры до времени предромантический (и романтиче-

²⁷ Иначе говоря, в этих случаях Державин прибегал к помощи созданного М. В. Ломоносовым жанра оды-рекомендации, или программной оды. Совпадая по внешним признакам с «обыкновенной» похвальной одой, ода программная отличается тем, что поэт хвалит адресата якобы как за сделанное за то, что, по его, поэта, мнению, сделать еще только надлежит. Скоро, однако, программный характер ломоносовской оды забылся, и уже Радищев упрекал Ломоносова в том, что он «льстил похвалою в стихах Елисавете». Критика XIX в. это «забвение» распространила на всю поэзию предшествующего столетия — включая Державина.

ский) взгляд на поэта — как на вдохновенного певца-демиурга, словом творящего и преобразующего мир.

Подобный титанический образ появится у Державина уже в XIX в., когда он будет в отставке и почувствует себя свободным от тех пут, о которых шла речь во втором послании Храповицкому:

Трубит — и глас его несется
С Невы до Лены берегов.
Летит — и дол под ним смеется,
Как эхом тысячи громов.
Пятою черны бездны давит,
Челом касается звезд;
Дивит кого, страшит иль славит, —
Комета, метеор векам.
Возносит персть — богов к престолу
И вержет истуканов долу.

Тромпетин, Арфин или Лирин,
Кто сей столь дерзостный певец?
Как молния, полет эфирен,
Как буря, — света по конец.
Как водопад, с горы крутыя
Низвергшись, вдалеке ревет,
Как ключ из челюсти земныя,
Сверкая, в воздух блестя льет.
Всяк, внемля, зря его, дивится,
Восторжен, очарован зрится. . .

Впрочем, и в конце жизни, строя на идее вдохновения (и при этом вдохновения или наития резко индивидуального и индивидуализированного) «Рассуждение о лирической поэзии», Державин сохраняет прежнюю трезвость. Об этом свидетельствует написанное специально для «Рассуждения» восьмистишие о поэзии:

Отлив от творческого духа,
Спечаток с мудрости лучей,
Ума согласье, ока, слуха,
Эмпирной сладости ручей,
Поэзия, глагол небесный!
Коль плоти бы органы тесны
Могли издать твой полный строй, —
Я б создал новый мир тобой.

Подводя итоги всему изложенному, можно сказать, что из возможных в XVIII в. позиций — сервильный стихотворец, поэт-гражданин, поэт-дилетант, вдохновенный певец-демиург — Державин решительно отвергает сервильную поэзию, пытаясь поначалу сочетать позицию поэта-гражданина с позой дилетанта. В дальнейшем, на новом этапе вдохновенный певец органично сочетается с поэтом-гражданином, глашатаем истины, правды. В этой эволюции и в этой сложности — специфика поэтической позиции Державина как в 70—80-е гг. XVIII в., так и в конце поэтического пути.

В заключение надо сказать, что проблема литературного сервильизма, дилетантизма, творческой независимости в преобразованном виде стояла и перед литературой первой трети XIX в.

Пожалуй, в свете проблем, о которых шла речь в настоящей работе, наибольший интерес представляет отношение к этим вопросам А. С. Пушкина. Обращался к ним Пушкин неоднократно, но решал их в разное время по-разному.

В конце мая—начале июня 1825 г. Пушкин пишет письмо А. Бестужеву по поводу статьи последнего «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». «Ободрения у нас нет — и слава богу!» — цитирует Пушкин слова Бестужева и возражает: «Отчего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрение сделаны министрами. Век Екатерины — век ободрений; от этого он еще не ниже другого. Карамзин, кажется, ободрен; Жуковский не может жаловаться, Крылов также. Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг < . . . > Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава богу!». Полемизируя далее, Пушкин обращается к историческим примерам (век Августа, Людовика XIV, Фридриха II, Екатерины II) и характеризует специфическую ситуацию, сложившуюся в русской литературе к 1825 г.: «Наши таланты благородны, независимы < . . . > Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованиями на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!»²⁸

Несколько по-иному решал проблему Пушкин в 30-е гг., когда ситуация в литературе изменилась. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1835) Пушкин сопоставляет литературные нравы XVIII столетия и XIX в.: «Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарною швалою < . . . > Ныне все это вывелось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей < . . . > У нас писатели не могут изыскивать милостей и покровительства у людей, которых почитают себе равными, и подносить свои сочинения вельможе или богачу, в надежде получить от него 500 рублей, или перстень, украшенный драгоценными камнями. Что же из этого следует? что нынешние писатели благороднее мыслят и чувствуют, нежели мыслил и чувствовал Ломоносов и Костров? позвольте в том усумниться.

²⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 145—147.

Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупателей. Нынче последний из писак, готовый на всякую частную подлость, громко проповедует независимость < . . . > К тому же с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то. Как бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значат; Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения, а господа NN все-таки презрительны — несмотря на то, что в своих книжках они проповедуют независимость и что они свои сочинения посвящают не добродетели и умному вельможе, а какому-нибудь шельме и вралю, подобному им».²⁹

Таким образом, рассматривая в 30-е гг. острейший для себя вопрос, Пушкин противопоставил своему времени восемнадцатое столетие, и противопоставление это в глазах Пушкина оказалось далеко не в пользу века девятнадцатого.

²⁹ Там же. Т. 7. С. 285—287.